

Оглавление

Предисловие Филипа Зимбардо	11
---------------------------------------	----

Часть I. ТЮРЬМА

Введение. Я владела своей тайной, а моя тайна владела мною	19
Глава 1. Чем отличается эта ночь от других ночей	28
Глава 2. То, что у тебя в голове	50
Глава 3. Танец в аду	60
Глава 4. Переворот «колесом»	71
Глава 5. Лестница смерти	84
Глава 6. Одна травинка или другая	91

Часть II. ПОБЕГ

Глава 7. Солдат-освободитель — солдат-насилльник	99
Глава 8. Влезть через окно	113
Глава 9. В следующем году в Иерусалиме	133
Глава 10. В бегах	149

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Часть III. СВОБОДА

Глава 11. Первый день нашей иммиграции	165
Глава 12. Мигранты	169
Глава 13. Ты была там?	184
Глава 14. «Выжившему от выжившего»	200
Глава 15. Что жизнь потребует от нас...	216
Глава 16. Выбор	232
Глава 17. Тогда Гитлер победил	257
Глава 18. Кровать Геббельса	261
Глава 19. Положить камень	278

Часть IV. ИСЦЕЛЕНИЕ

Глава 20. Танец свободы	297
Глава 21. Девочка-безручка	313
Глава 22. И расступились воды	327
Глава 23. День освобождения	336
Благодарности	339
Об авторе	343

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Чем отличается эта ночь от других ночей

Если извлечь из моей жизни самый важный момент, представить всю мою историю одним-единственным стоп-кадром, он будет выглядеть так: на безжизненном пространстве двора стоят три женщины в темных шерстяных пальто, крепко держась за руки. Они обессилены. На их туфлях лежит пыль. Они стоят в длинной очереди.

Три женщины — это моя мама, моя сестра Магда и я. И это последние мгновения, когда мы вместе, но мы еще ничего не знаем. Мы отказываемся думать о таком исходе. Или мы так устали, что нет сил даже гадать, что будет дальше. На кадре момент разрыва — разлука матери и дочерей, раскол жизни на до и после. Впрочем, подобный смысл можно придать только задним числом.

Вижу нас троих сзади, как если бы я стояла следующей в очереди. Зачем память показывает мне затылок мамы, а не ее лицо? Мамины длинные волосы затейливо заплетены и заколоты у нее на макушке. Светло-каштановые волны касаются плеч Магды. Мои волосы заправлены под шарф. Мама стоит между нами, мы с Магдой прильнули к ней. Ни за что не поймешь: мы с сестрой помогаем ей устоять на ногах или, наоборот, ее сила — та опора, которая поддерживает меня и Магду.

Этот момент знаменует начало тяжелых потерь в моей жизни. Семь десятилетий я мысленно снова и снова возвращалась к образу трех женщин. Изучала этот стоп-кадр, тщательно всматриваясь в него, словно могла отыскать в нем что-то драгоценное. Словно могла

вернуть ту жизнь, что была до него, — жизнь до потери. Как будто она все еще где-то идет.

Я вернулась туда, чтобы побыть с ними еще немного, найти покой в той минуте, когда мы еще держимся за руки и есть друг у друга. Я вижу наши опущенные плечи. Пыль, приставшую к подолам наших пальто. Свою маму. Свою сестру. Себя.

Часто детские воспоминания фрагментарны, они состоят из кратких мгновений и встреч, из которых и складывается альбом нашей жизни. Это все, что мы оставляем для себя, дабы понять собственную историю, которую мы рассказываем самим себе, — историю о том, кто мы.

Мое самое сокровенное воспоминание о маме — еще до момента, как нас разлучили, — оно мне очень дорого, хотя и связано с печалью и утратой. Мы вдвоем на кухне, мама заворачивает остатки штруделя. Я видела, как она его готовила, разделявая руками тесто и раскатывая по обеденному столу, словно тяжелую льняную ткань. «Почитай мне», — говорит она, и я приношу с ее прикроватного столика потрепанный том «Унесенных ветром». Мы уже прочитали его один раз от начала до конца, теперь начали снова. Мой взгляд задерживается на загадочной надписи на английском на титульном листе переводной книги. Почерк мужской, но не моего отца. Мама говорит только, что книгу ей подарил мужчина, с которым она познакомилась, когда работала в министерстве иностранных дел, до того как встретила моего папу.

Мы сидим на стульях с прямыми спинками рядом с дровяной печью. Я бегло читаю взрослый роман, хотя мне всего девять. «Хорошо, что ты у нас умная, а то внешность у тебя так себе», — не первый раз говорит мне мама, то ли делая комплимент, то ли вынося приговор. Иногда она бывает сурова со мной. Но я наслаждаюсь теми минутами. Когда мы вот так вместе читаем, мне не приходится ни с кем ее делить. Я погружаюсь в слова, в сюжет и в свое ощущение, что мы с ней одни на всем свете. Скарлетт возвращается в Тару, когда война заканчивается, и узнает, что мать ее умерла, а отец охвачен глубоким горем. Скарлетт говорит: «Бог мне свидетель... я никогда больше не буду голодать». Мама закрывает глаза и прислоняется затылком к спинке стула. Хочется забраться к ней

на колени. Хочется прижаться головой к ее груди. Хочется, чтобы она касалась губами моих волос.

— Тара... — говорит она. — Америка! Вот куда бы уехать.

Мне хочется, чтобы она произнесла мое имя с той же нежностью, с которой она обращается к земле, где никогда не была. Запахи маминной кухни смешиваются в моем сознании с драматизмом голода и застолья — поскольку даже праздничные ужины всегда тоскливы. Не знаю, чья это тоска. Моя ли, мамина ли, наша общая?

Мы сидим, между нами огонь.

— Когда я была в твоём возрасте... — начинает мама.

Теперь, когда она заговорила, я сижу не двигаясь, боясь, что она замолчит, если я шелохнусь.

— Когда я была в твоём возрасте, маленькие дети спали вместе. Я спала с мамой в одной кровати. Однажды утром я проснулась из-за крика папы: «Илонка, разбуди мать, она еще ни завтрак не приготовила, ни одежду для меня не разложила». Я повернулась к маме, которая лежала рядом, укрывшись. Но она не двигалась. Она была мертва.

Моя мама никогда мне об этом не рассказывала. Я хочу узнать все подробности о той минуте, когда дочь просыпается рядом с матерью, которую уже потеряла. И в то же время мне хочется отвернуться. Слишком страшно об этом думать.

— Когда маму похоронили в тот же день, я думала, что они закопали ее в землю заживо. Вечером отец велел мне готовить ужин на всю семью. Это я и сделала.

Я жду продолжения истории. Жду морали в конце или утешения.

— Пора спать, — все, что говорит моя мама. Она наклоняется подмести золу под печью.

За дверью в коридоре глухой звук шагов. Я чувствую запах папиного табака еще до того, как слышу бряцанье ключей.

— Дамы, — зовет он, — вы еще не спите?

Он заходит на кухню в своих натертых до блеска ботинках и элегантном костюме, с широкой улыбкой, в руках у него маленький мешочек, он дает его мне и звонко целует в лоб.

— Я снова выиграл, — хвастает он.

Когда папа играет в карты или бильярд с друзьями, он всегда делит выигрыш со мной. Сегодня он принес птифур, покрытый розовой

глазурью. Если на моем месте была бы сестра Магда, мама, которую всегда беспокоит ее вес, сразу унесла бы лакомство подальше, но мне она кивает, разрешая съесть.

Она стоит между огнем и раковиной. Папа подхватывает ее, чтобы закружить с нею по комнате, и она вальсирует с ним холодно, не улыбаясь. Он притягивает ее к себе, сжимая в объятиях. Одна его рука на ее спине, другой он дразняще поглаживает ее грудь. Мама отстраняется от него.

— Для твоей мамы я одно разочарование, — не слишком тихо шепчет мне папа, когда мы уходим из кухни. Хочет ли он, чтобы мама краем уха его услышала, или это секрет, сказанный только мне? Так или иначе, его слова я сохраняю, чтобы обдумать позже. Но горечь в папином голосе меня пугает.

— Она хочет ходить каждый вечер в оперу, жить роскошной жизнью, быть гражданкой мира. А я обычный портной. Портной и бильярдист.

Папин убитый голос приводит меня в смятение. Его хорошо знают у нас в городе и очень любят. Балагур и добряк, он всегда выглядит как человек энергичный и уравновешенный. С ним, известным весельчаком, не бывает скучно, и он постоянно окружен бесчисленными друзьями. Любитель поесть — особенно ветчину из свинины (иногда тайком он приносит ее в наш кошерный дом, ест прямо с газеты, в которую она была завернута, запикивает кусочки запрещенной свинины и в мой рот, а после выслушивает мамины обвинения, какой гадкий пример он подает ребенку). Его ателье заслужило две золотые медали. Он не просто делает ровные швы и прямые края. Папа — мастер пошива высокого класса. Так они познакомились с мамой: ей потребовалось новое платье и она пошла к нему в ателье, так как его имя было у всех на устах. Правда, папа хотел стать не портным, а врачом, но его отец отверг эту мечту, и временами папино недовольство собой дает о себе знать.

— Ты не обычный портной, папа, — заверяю я его. — Ты самый лучший портной!

— А ты будешь самой нарядной девушкой в Кошице! — говорит он, глядя мои волосы. — Твоя прекрасная фигурка создана для шикарных нарядов!

Похоже, он уже справился со своей досадой, взял себя в руки и успокоился. Мы с ним подходим к спальне, в которой, кроме меня и Магды, спит еще наша средняя сестра Клара. Сейчас наверняка Магда делает вид, что выполняет домашнее задание, а Клара очищает свою скрипку от канифольной пыли. Нам с папой не хочется расставаться, и мы задерживаемся у двери.

— Знаешь, я хотел, чтобы ты была мальчиком, — говорит папа. — Когда ты родилась, я хлопнул дверью. Как я злился, что у нас еще одна девчонка. А теперь ты единственная, с кем я могу поговорить.

Он целует меня в лоб.

Мне приятно, когда отец так нежен со мной. Папино внимание бесценно, как и мамино, — и так же зыбко. Мне казалось, будто сила родительской любви напрямую зависит от приступов одиночества у каждого из них, а не от того, насколько я заслуживаю ее. Словно их не интересовала моя личность — то, что я представляю собой. Я была для них вроде эрзаца. И папа и мама обращали ко мне свою любовь лишь в минуты своей душевной опустошенности.

— Спокойной ночи, Дицука, — наконец говорит папа. Это уменьшительное имя для меня придумала мама. Ди-цу-ка. Сколько тепла я ищу в этих нелепых слогах.

— Скажи сестрам, что пора гасить свет.

Я вхожу в спальню, Магда и Клара встречают меня песенкой, которую когда-то придумали обо мне. В три года, вследствие неудачной медицинской манипуляции, у меня появилось косоглазие, и сестры на это сочинили: «Ты тщедушная уродка, таких замуж не берут!» После того несчастного случая я во время ходьбы всегда опускаю голову, чтобы люди не глазели на мою кривую физиономию, а мне не приходилось видеть их реакцию. Тогда я еще не понимала: проблема не в сестрах, дразнивших меня гадкой песенкой; суть в том, что я им поверила. Я настолько убеждена в собственной неполноценности, что никогда не представляюсь по имени. Я не говорю: «Я Эди», а представляюсь: «Я сестра Клары». Ведь скрипачка Клара — юное дарование. В пять лет она уже исполняла концерт Мендельсона для скрипки с оркестром.

Но в тот вечер мне стали доступны особые знания. «Мамина мать умерла, когда мама была в моем возрасте», — выпаливаю я. Я почему-то абсолютно уверена в исключительной ценности своей

информации. Мне и в голову не приходило, что для моих сестер она уже давно не новость, что в семье я последняя, кто узнал об этом.

— Не может быть, — говорит Магда с таким очевидным сарказмом в голосе, что даже я его замечаю. Ей пятнадцать, у нее пышный бюст, чувственные губы и вьющиеся волосы. В нашей семье она главная хохмачка. Когда мы были помладше, Магда научила меня бросать виноградины из окна нашей спальни в чашки с кофе людям, сидящим внизу на террасе. Вдохновляясь ее идеями, я вскоре придумваю собственные забавы, однако к тому времени ставки изменятся. С моей подружкой мы начнем дефилировать мимо мальчишек в школе или на улице и, хлопая ресницами, призывно шелестеть: «Встретимся на площади у часов в четыре». Они обязательно придут, они всегда будут приходить: кто-то окрыленный, кто-то застенчивый, кто-то развязный — но все полные ожиданий. Мы с подружкой будем скрываться в моей спальне, стоять у окна и наблюдать, как они слетаются.

— Не дразни ее так, — резко осаждает Магду Клара. Она младше Магды, но вступает за меня.

— Помнишь ту фотографию над пианино? — говорит она мне. — С которой мама все время разговаривает? Это ее мать.

Я знаю, какую фотографию она имеет в виду — смотрю на нее каждый день. «Помоги мне, помоги мне», — жалобно стонет наша мама, обращаясь к портрету, когда вытирает пыль с пианино или подметает пол. Я чувствую себя неловко из-за того, что никогда не спрашивала ее — или кого-то еще, — чей это портрет. Меня также расстраивает, что моя новость оказалась ненужной и не придала мне веса в глазах сестер.

Из трех сестер меня считают самой тихой и неприметной. Мне было невдомек, что Магде может надоест ее вечное зубоскальство, а Клара может внутренне роптать на свою участь юного виртуоза. Ей ни на секунду нельзя останавливаться, иначе она перестанет быть выдающейся скрипачкой и тогда лишится всего: потеряет всеобщее обожание, к которому так привыкла, и утратит свою высокую самооценку. Мне и Магде приходится прилагать массу усилий, чтобы добиться хоть чего-нибудь, однако и я, и она абсолютно уверены, что, сколько бы мы ни вкалывали, этого всегда будет недостаточно. У Клары другое: ей нужно

беспокоиться, что в любой момент она может совершить фатальную ошибку — и потерять все. Сестра играет на скрипке всю мою жизнь — столько, сколько я себя помню. Она начала, когда ей было три года. Уже гораздо позже я поняла, какова цена ее удивительного таланта: Клару лишили детства. Я никогда не видела, чтобы она играла в куклы. Вместо этого она стояла у открытого окна и упражнялась на скрипке; сестра не получала удовлетворения от своей игры, если внизу не собиралась толпа прохожих — восхищенных свидетелей ее творческого дара.

— Мама любит папу? — спрашиваю я сестер. Холодность между нашими родителями и их печальные признания наталкивают меня на мысль, что я никогда не видела, чтобы нарядными они шли куда-то вместе.

— Ну что за вопрос, — говорит Клара. Хотя сестра уходит от ответа, но по ее глазам я вижу, что, похоже, ей знакомо мое чувство. Мы никогда больше не затронем эту тему, несмотря на мои дальнейшие попытки. Пройдут годы, прежде чем я узнаю то, о чем мои сестры уже наверняка догадались: на самом деле довольно часто любовь бывает обусловленной, основанной на выполнении ожиданий другого человека, — она дается как вознаграждение, и ты довольствуешься этим малым.

Пока мы надеваем ночные рубашки и укладываемся спать, все мои переживания за родителей благополучно улетучиваются. Мысли заняты уже другим: моим балетмейстером и его женой, чувством, которое меня охватывает, когда я, перескакивая через две-три ступеньки, избегаю по лестнице в студию, сбрасываю школьную форму и натягиваю купальник и трико. Я занимаюсь балетом с пяти лет, с тех пор как мама выяснила, что музыка — не мое, но у меня есть другие таланты. Сегодня мы делали упражнения на шпагат. Балетмейстер напомнил нам, что сила и гибкость неразделимы: чтобы одна мышца напряглась, другая должна расслабиться; чтобы выработать правильную растяжку и стать гибкой, нужно иметь сильное сердце и крепкий костяк.

Я держусь за его наставления как за молитву. Опускаюсь, спина прямая, брюшной пресс напряжен, ноги вытянуты в стороны. Не забываю про дыхание, особенно когда начинаю застревать в одном положении. Я представляю, что мои мышцы и связки

натягиваются, словно струны на скрипке моей сестры; важно найти точку натяжения, чтобы заставить тело звучать как инструмент. И вот я опустила. Я это сделала. Села на полный шпагат. «Браво! — хлопает балетмейстер. — Замри вот так». Он поднимает меня с пола и держит над головой. Трудно полностью вытягивать ноги в стороны, не опираясь на пол, но на секунду я чувствую себя так, будто я подарок, подношение. Я луч света. «Эдитка, — говорит учитель. — Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри». Через многие годы я по-настоящему пойму, о чем шла речь. А тогда я лишь знала, что могу правильно дышать, вращаться, делать махи ногой и гнуться. Мои мышцы растягиваются и укрепляются. Любое мое движение, любая поза будто взывают: *это я; я есть; я существую; я такая, какая есть; я живая.*

Память — территория священная. Равным образом память — место заколдованное, место, населенное призраками, неотступно меня преследующими. Там мои гнев, скорбь и чувство вины кружат, словно голодные стервятники, роются в одних и тех же старых костях. Там брожу я в поисках ответа на вопрос. Вопрос, на который нет ответа. *Почему выжила я?*

Мне семь лет; родители пригласили на ужин гостей. Меня посылают налить в кувшин воды. Из кухни я слышу, как они шутят: «Вот уж без чего можно было обойтись». Мне кажется, это намек на то, что до моего появления на свет они уже были полной семьей. Они имели дочь, которая играла на фортепьяно, и дочь, которая играла на скрипке. «Я лишняя, я недостаточно хороша, мне нет места» — так думаю я. Так мы неверно истолковываем факты своей жизни, строим домыслы и не проверяем, правда ли это. Так мы сами себе придумываем истории, подкрепляя то, во что уже успели поверить.

Мне восемь лет; однажды я решаю сбежать из дома. Собираюсь проверить свою теорию, что меня никто не замечает и все без меня обойдутся. Посмотрим — когда меня не будет дома, — обратят ли родители на это внимание. Вместо школы я направляюсь к бабушке с бабушкой — сажусь в трамвай и еду к ним. Мамины отец и мачеха не выдадут меня, и я доверяю им. С мамой они ведут постоянную войну из-за Магды: защищают мою сестру даже тогда, когда мама

находит в ее комодe спрятанные коржики. Для меня дедушка с бабушкой неопасны — они всегда разрешают то, что запрещено. А потом они держатся за руки, чего наши родители никогда не делают. Чтобы почувствовать их любовь, не нужно кого-то из себя изображать; чтобы заслужить их похвалу, не нужно играть. Они мое утешение и поддержка. У них дома всегда уютно пахнет грудинкой и тушеной фасолью, сладкой халой и чолнтом — сытным шабатным блюдом из тушеных овощей и мяса, которое моя бабушка ходила готовить в пекарню, так как ортодоксальные евреи не могли в субботу пользоваться своей печью.

Бабушка и дедушка рады меня видеть. То было замечательное утро. Я сижу на кухне и поедаю ореховые рулетики, когда вдруг раздается звонок в дверь. Дедушка идет открывать. Через миг он прибегает на кухню. Поскольку он глуховат, то, предупреждая меня, почти кричит: «Прячься, Дицука! Твоя мать здесь!» Пытаясь защитить внучку, он ее выдает.

Итак, мама обнаруживает меня сидящей на кухне в доме бабушки и дедушки. Но больше всего меня тревожит выражение ее лица. Она не то чтобы удивлена, увидев меня здесь, — нет, она смотрит на меня так, будто сам факт моего существования застал ее врасплох. Словно я совсем не та, кого она хотела бы встретить.

Мне десять лет. Я точно знаю, что никогда мне не быть красивой, — мама ясно дала это понять. Но вдруг она заверяет меня, что мне больше не придется прятать лицо. В Будапеште есть доктор Кляйн, который исправит мое косоглазие. Мы с ней едем в Будапешт. В поезде я ем шоколад и наслаждаюсь маминым вниманием, обращенным только на меня. Доктор Кляйн — знаменитость, как говорит мама, он первый стал проводить офтальмологические операции без анестезии. Меня захватили путешествие и счастье, что ни с кем не приходится делить свою маму. Я предаюсь мечтам и не осознаю, о чем она меня предупреждает. Мне даже не пришло в голову, что операция — процедура болезненная. И вот боль поглощает меня. Мама и ее родственники, через которых мы вышли на знаменитого доктора Кляйна, прижимают к столу мое извивающееся тело. Хуже боли — боли чудовищной и бесконечной — только ощущение, что любящие люди держат меня так сильно, что я не могу шевельнуться. Лишь намного позже,

после того как операция окажется успешной, я смогу взглянуть на ту сцену другими глазами — с позиции мамы. Как, наверно, ей было тяжело переносить мои страдания.

Мне тринадцать лет. Счастливее всего я бываю, когда остаюсь одна и могу погрузиться в свой мир. Однажды утром по дороге в частную гимназию я мысленно повторяю па вальса «На прекрасном голубом Дунае»* — в праздничные дни наш балетный класс будет танцевать его на набережной. Разыгравшееся воображение постепенно уносит меня уже в новом танце. Моя фантазия рисует встречу родителей, причем я исполняю обе партии: и матери и отца. У папы эксцентричный танец; когда мама появляется в комнате, он в утрированно комической манере делает двойной прыжок. Мама крутит пируэты в очень быстром темпе и высоко прыгает. Мое тело, выгибаясь дугой, парит в торжествующем смехе. Я никогда не видела, чтобы мама радовалась, ни разу не слышала, чтобы она от души хохотала, и тем не менее мое тело превращается в хранилище ее неистраченной радости.

Придя в школу, я обнаруживаю, что деньги, которые папа дал мне для оплаты целой учебной четверти, пропали. Видимо, я обронила их в вихре танца. Проверены все карманы и каждая складка одежды, но денег нет. Весь день от одной мысли, что мне предстоит сказать об этом отцу, я ощущаю обжигающий холод страха. Дома он замалчивается на меня кулаком. До этой минуты отец никогда никого из нас не бил. Когда все закончилось, он не произнес ни слова и даже не взглянул на меня. Той ночью, лежа в постели, я мечтаю умереть, чтобы отец страдал из-за того, что со мной сделал. Потом я желаю смерти и ему тоже.

Нужны ли мне самой эти воспоминания? Дают ли они обо мне представление как о человеке сильном? Или, напротив, как о человеке глубоко закомплексованном? Возможно, наше детство — это компас, который помогает нам определять свое местоположение в жизни: важны ли мы для своих близких или нет. Возможно, наше детство — это карта, на которой мы изучаем размеры и границы своей значимости.

* «На прекрасном голубом Дунае» (1866) — самый знаменитый вальс Иоганна Штрауса-сына.

Возможно, каждая жизнь — это исследование того, чего у нас нет, но чем хотелось бы обладать, и того, что есть, но лучше бы не было.

У меня ушло несколько десятилетий, чтобы понять: к своей жизни можно подойти с другим вопросом. Не «Почему я выжила?», а «Что делать с принадлежащей мне жизнью?».

Общечеловеческие драмы моей семьи усугублялись внешне-политическими событиями — прежде всего войнами и переделом европейских границ. До Первой мировой войны та область Словакии, где я родилась и выросла, была частью Австро-Венгрии, но в 1918 году, за десять лет до моего рождения, Версальский договор перекроил карту Европы, вследствие чего появилось новое государство. Чехословакию слепили на скорую руку, собрав под одним небом аграрную Словакию, где жили этнические венгры и словаки и откуда родом была моя семья, высокоиндустриальные Моравию и Богемию, где жили этнические чехи, и Подкарпатскую Русь, которая сегодня входит в Украину. Мой родной венгерский город Кашша стал чехословацким городом Кошице. Члены моей семьи стали дважды меньшинствами. Мы были этническими венграми в преимущественно чешской стране, а еще мы были евреями.

Хотя евреи жили в Словакии с XI века, лишь в 1840 году им разрешили поселиться в Кашше. Для еврейских семей, которые хотели там жить, городские власти при поддержке христианских ремесленных гильдий, несмотря на разрешение, все равно создавали препятствия. Однако на рубеже веков в Кашше все-таки образовалась одна из крупнейших в Европе еврейских общин. Венгерские евреи, в отличие от других восточноевропейских евреев, например польских, не жили изолированно (поэтому моя семья говорила исключительно на венгерском, а не на идише). Напротив, мы, евреи, были довольно хорошо интегрированы в венгерское общество и располагали кучей возможностей в таких областях, как образование и просвещение, разнообразная профессиональная деятельность и культурная жизнь. Тем не менее венгерские евреи постоянно сталкивались с предубеждением общества — и едва уловимым, и очень явным. Антисемитизм изобрели не нацисты. Пока я росла, до мозга костей пропиталась ощущением собственной неполноценности и верой в благо ассимиляции — для своей же безопасности. Надежнее было не афи-

шировать, что ты еврейка, лучше слиться с толпой и не выделяться. Что касается таких чувств, как собственное достоинство, самосознание и причастность к своему народу, то с этим было тяжело. В ноябре 1938 года Венгрия аннексировала Кошице*, и казалось, будто наш дом вновь стал родным кровом.

Мама стоит на нашем балконе дворца Андраши, старого здания, поделенного на односемейные апартаменты. Она вывесила на перилах восточный ковер. Не потому, что убирает квартиру, — это в честь праздника. Адмирал Миклош Хорти, его светлость регент Венгерского королевства, прибывает сегодня, чтобы официально приветствовать наш город в составе Венгрии. Мне понятны возбуждение и гордость родителей. Мы свои! А я сегодня приветствую Хорти: выступаю с танцем. На мне венгерский костюм: яркий шерстяной пояс и юбка с вышитыми на ней крупными цветами, свободная рубашка с белыми рукавами, ленты, кружево, красные сапожки. Когда я, танцую у реки, делаю высокий мах ногой, Хорти аплодирует. Он обнимает танцоров. Обнимает меня.

— Дицука, вот бы у нас были светлые волосы, как у Клары, — шепчет мне Магда перед сном.

Нас все еще отделяют годы от комендантского часа и нацистских дискриминационных законов, но парад Хорти представляет собой исходную точку того, что грядет. Венгерское гражданство, с одной стороны, даровало нам чувство общности, с другой — отчужденности. Мы так рады, что говорим по-венгерски, что нас приняли как венгров, — и все-таки степень этого приятия зависит от того, насколько мы ассимилировались. Соседи утверждают, что только этнические венгры — *которые не евреи* — могут носить традиционные костюмы.

— Лучше не говорить, что ты еврейка, — предупреждает меня Магда. — Иначе они обязательно захотят забрать себе твои красивые одежды.

Магда — первенец; она объясняет мне, как устроен мир. Посвящает меня в подробности, порою чрезвычайно тревожащие, нуждающиеся в дальнейшем изучении и осмыслении. Когда в 1939 году нацистская Германия вторгается в Польшу, венгерские нацисты —

* Венгрия, будучи союзником нацистской Германии, 2 ноября 1938 года оккупировала часть Словакии в результате Мюнхенского соглашения (29 сентября 1938 года), по которому Чехословакия была уничтожена как независимое государство.

*нилашисты** — въезжают во дворец Андраши и занимают этаж под нами. Они крайне враждебно настроены к нашей семье и даже плюются в Магду. Нилашисты изгоняют нас из этого дома, и мы селимся в другом месте, подальше от городской магистрали, на боковой улице Лайоша Кошута в доме шесть. Теперь отцу не очень удобно ходить на работу. Прежние жильцы, тоже еврейская семья, уехали в Южную Америку, поэтому квартира оказалась свободной. Мы знаем, что и другие еврейские семьи покидают Венгрию. Сестра моего отца, Матильда, уехала еще несколько лет назад. Она живет в Нью-Йорке, в месте под названием Бронкс, в квартале еврейских иммигрантов. Ее жизнь в Америке представляется более скучной, чем наша. Мы в принципе не обсуждаем возможность отъезда.

Даже в следующем 1940 году (мне уже исполнилось тринадцать), когда нилашисты начали устраивать в Кашше облавы на мужчин-евреев и отправлять их на принудительные работы в так называемые трудовые лагеря, все еще кажется, будто война идет где-то далеко. Ведь отца не забрали. *Тогда не забрали*. Нашей защитой становится отрицание. Если не обращать внимания на то, что творится вокруг, если стать совсем незаметными, то можно жить дальше. Мы не в состоянии сделать мир безопасным, но мы можем сделать его таковым силой своего сознания. У нас получится стать невидимыми для зла.

Но однажды — это случилось в июне 1941 года — Магда едет куда-то на велосипеде и вдруг слышит завывание сирен. На бешеной скорости она пролетает три квартала, чтобы спрятаться в бомбоубежище в доме бабушки и дедушки, — и видит, что полдома уже разрушено. Слава богу, бабушка и дедушка выжили. Но владелица дома, сдававшая им квартиру, нет. То была странная атака: одна мощная бомбардировка — и один разрушенный район. Нам говорят, что за руины и смерть ответственность несут русские**. В это никто

* *Нилашисты* (венг. nyilasok), или салашисты (от имени лидера Ференца Салаши), — члены венгерской крайне правой национал-социалистической партии «Скрещенные стрелы» (1937–1945).

** Три бомбардировщика появились над Кошице 26 июня 1941 года в 13:08 по местному времени, с небольшой высоты они сбросили 30 бомб, каждая по 100 кг. Эта бомбардировка стала поводом для Венгрии на следующий же день вступить на стороне Германии в войну с СССР. Вопрос ответственности до сих пор не выяснен; по сей день существует несколько версий: Советский Союз, провокация Третьего рейха или Румынии.

не верит, но никто не может и опровергнуть. Нам повезло, но в то же время мы чувствуем свою уязвимость. Единственное, что не вызывает сомнений, — груды кирпичей на том месте, где были дома. Разрушения, гибель и полная наша незащищенность — вот неопровержимые факты. Венгрия поддерживает Германию в операции «Барбаросса». Мы вторгаемся в Россию.

Примерно в то же самое время нас обязуют носить на одежде желтые звезды*. Нужно исхитриться, чтобы запрягивать звезду под пальто. Но даже когда ее не видно, я чувствую себя так, будто сделала что-то плохое и наказуемое. В чем мой неискупимый грех? Мама не отходит от радио. Однажды мы устраиваем пикник у реки, и папа рассказывает нам о своем опыте военнопленного в России во времена Первой мировой войны. Я догадываюсь, что испытания, перенесенные им в плену, как-то связаны с его пристрастием к свинине и отходом от религии, — на самом деле, конечно, у отца была настоящая травма, хотя тогда я еще не знала ни этого слова, ни самого понятия. Мне понятно, что причины его душевных страданий надо искать в той войне. Но эта война, сегодняшняя, — она все еще не рядом, где-то в другом месте. Ее можно не принимать в расчет, что я и делаю.

После школы я провожу по пять часов в балетной студии, а еще в моей жизни появилась гимнастика. Правда, я начала ею заниматься как дополнительной практикой, нужной для танца, но довольно скоро гимнастика становится не меньшей страстью, если даже не равной балету. Я записываюсь в книжный клуб, куда ходят ученицы моей частной гимназии и ученики соседней частной школы для мальчиков. Мы читаем роман Стефана Цвейга «Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера». Мы обсуждаем, как Цвейг пишет об истории изнутри, показывая взгляд отдельного человека. В книжном клубе есть мальчик Эрик, который в один прекрасный день обращает на меня внимание. Я вижу, как он присматривается

* *Желтая звезда*, или лата, — шестиконечная звезда Давида. Желтый цвет и надпись *Jude* (нем. «еврей») делали ее отличительным знаком для сегрегации евреев. Впервые нацисты применили дискриминационный знак желтой звезды 1 апреля 1933 года, отметив им все еврейские магазины в Германии. Желтая звезда на одежде появилась в 1939 году в оккупированной Польше; с сентября 1941 года нацисты обязали евреев носить отличительные знаки на территории Третьего рейха, а чуть позже в том же году — на всех подконтрольных ему территориях.

ко мне каждый раз, когда я говорю. Он высокий, с веснушками и рыжеватыми волосами. Я представляю себе Версаль, будуар Марии Антуанетты, где мы встречаемся с Эриком. Про секс я не знаю ничего, но я девочка мечтательная. Я вижу, что он заинтересовался мной, и уже думаю: интересно, а как выглядели бы наши дети? У них тоже были бы веснушки? После обсуждения Эрик подходит ко мне. От него так приятно пахнет: свежестью и травами с берегов реки Горнад, где вскоре мы будем с ним гулять.

Между нами сразу возникли настоящие и содержательные отношения. Мы говорим о литературе. О Палестине (он убежденный сионист). Сейчас не время беззаботных свиданий, наша связь — не случайное увлечение, не детская сентиментальная влюбленность. Это любовь перед лицом войны. Для евреев ввели комендантский час, но однажды поздно вечером мы тайком убегаем без наших желтых звезд. Мы стоим в очереди в кино. Находим в темноте свои места. Показывают американский фильм с Бетт Дейвис. Его оригинальное название, как я узнаю позже, — *Now, Voyager* («Вперед, путешественник»), но в Венгрии он идет как *Utazás a múltból* («Путешествие в прошлое»). Бетт Дейвис играет незамужнюю девушку, которую тиранит все контролирующая мать. Героиня пытается найти себя и обрести свободу, но ее постоянно угнетают критические замечания матери. Эрик видит здесь политическую метафору самоопределения и самооценки. Я вижу тени моей матери и Магды: моей матери, которая души не чает в Эрике, но порицает Магду за ее несерьезные свидания; которая умоляет меня взять добавки за обедом, но отказывается класть Магде полную тарелку; которая часто тиха и погружена в себя, но злится на Магду; чей гнев, который никогда не бывает адресован мне, все равно внушает мне ужас.

Наши семейные баталии, наступление Советской армии — мы никогда не знаем, что будет дальше. Во тьме и хаосе неизвестности мы с Эриком заряжаем друг друга собственным светом. Каждый день наша свобода и возможности выбора все больше и больше ограничиваются, а мы с ним строим планы на будущее. Наши отношения словно мост, по которому мы можем перейти от сегодняшних тревог к будущим радостям. Планы, страсть, обещания. Быть может, весь этот кавардак вокруг делает нас более преданными

и менее сомневающимися. Никто не знает, что произойдет, но мы знаем. У нас есть мы и наше будущее, наша общая жизнь, которую мы видим так же ясно, как видим свои сплетенные вместе руки. Как-то в августе 1943-го мы идем на реку. Он берет с собой камеру и фотографирует меня в купальном костюме — я делаю шпагаты на траве. Я представляю, как однажды покажу эти снимки нашим детям. Расскажу им, как мы не давали погаснуть свету нашей любви и преданности.

Когда я вернулась в тот день домой, отца с нами уже не было. Его забрали в трудовой лагерь. Он портной, он аполитичен. Разве может он представлять хоть какую-нибудь угрозу? Почему выбрали его? У него появился враг? Есть много всего, о чем мать мне не говорит. Это потому, что сама не знает? Или она так защищает меня? А возможно, себя? Она не говорит открыто о своих тревогах, но в долгие месяцы папиного отсутствия я чувствую, как ей грустно и страшно. Я вижу, как она старается готовить несколько блюд из одной курицы. Как она страдает мигренью. Чтобы восполнить потерю дохода, мы берем квартиранта. У него свой магазин через дорогу от нас, и я долгими часами сижу там, потому что нахожу умиротворение в его присутствии.

Магда — она уже окончила школу и фактически стала взрослой — каким-то образом выясняет, куда угнали отца, и навещает его там. Она наблюдает, как ему приходится поднимать и таскать с места на место столы и как его шатает от их веса. Это единственная подробность, которую она мне рассказывает. Я не представляю, что стоит за этой картинкой. Не знаю, какую работу заставляют выполнять отца в неволе. Не знаю, как долго он пробудет в заключении. У меня два образа папы. Первый папа, каким я его знала всю жизнь, — с сигаретой во рту, портновским сантиметром на шее и мелом в руке, чтобы наметить рисунок на дорогой ткани; с блеском в глазах, готовый запеть или рассказать анекдот. И другой, новый папа — в безвестном месте, на безлюдной земле, поднимающий слишком тяжелый стол.

На свой шестнадцатый день рождения я не иду в школу из-за простуды, и Эрик приходит к нам домой, чтобы подарить мне розы, ровно шестнадцать, и первый нежный поцелуй. Мне и радостно и грустно. За что я могу ухватиться? Что не исчезнет? Свою

фотографию, которую Эрик сделал на берегу реки, я дарю подруге. Уже не помню почему. Отдаю на хранение? У меня нет предчувствия, что меня скоро заберут, заберут задолго до следующего дня рождения. И все-таки... Будто бы я знала: мне понадобится, чтобы у кого-нибудь хранилось свидетельство моей жизни, и нужно будет посеять вокруг себя как бы семена доказательства своего существования.

Ранней весной, проведя семь или восемь месяцев в трудовом лагере, отец возвращается. Это настоящая благодать: его отпустили перед Песахом, за неделю или две. И мы верим в это. А папа... папа снова берется за портновский сантиметр и мел. Он ничего не говорит о том месте, откуда пришел.

Прошло несколько недель после возвращения отца. Как всегда, я прихожу в студию гимнастики, сажусь на синий мат и выполняю весь полагающийся комплекс разминки перед вольными упражнениями: тяну носки, сгибаю ступни, вытягиваю ноги, руки, шею, спину. Я снова чувствую себя самой собой. Не маленькой косоглазой коротышкой, которая боится произнести собственное имя. Не испуганной дочерью, опасавшейся за свою семью. Я артистка, я гимнастка, мое тело сильное и гибкое. Может, и нет у меня внешности Магды, нет у меня и славы Клары, но у меня есть мое упругое и выразительное тело; и его многообещающее существование — единственное, что мне по-настоящему нужно. У меня есть и подготовка, и навыки — благодаря этому в моей жизни появляются немислимые возможности. Из лучших гимнасток в нашем классе сформирована команда для подготовки к Олимпиаде. Олимпийские игры 1944 года отменили из-за войны, что дает нам больше времени подготовиться к сложной конкурентной борьбе.

Я закрываю глаза, вытягиваю корпус и руки вдоль ног. Моя подруга слегка толкает меня большим пальцем ноги, я поднимаю голову и вижу, как наша тренер идет прямо ко мне. Мы все чуть ли не влюблены в нее. Это не плотское влечение, а что-то вроде преклонения перед героем. Иногда мы возвращаемся домой и выбираем более долгий путь, только чтобы пройти мимо ее дома, — мы идем как можно медленнее, надеясь хоть мельком увидеть ее в окне. Мы испытываем ревность, ведь мы ничего не знаем о ее жизни. С тех пор как у меня появился шанс участвовать в Олимпиаде —

когда война наконец-то закончится, — мое ощущение будущего и той цели, к которой я должна стремиться, в основном замыкается на моем тренере, ее поддержке и вере в меня. Если я смогу вобрать в себя все, чему она должна меня научить, если я справлюсь и оправдаю ее доверие, то передо мной откроются большие перспективы.

— Эдитка, — говорит она, подходя к моему мату. Она использует мое полное имя, но с уменьшительно-ласкательным суффиксом. — На пару слов.

Тренер касается пальцами моей спины, когда выводит меня в коридор.

Я выжидающе смотрю на нее. Может быть, она заметила, что мой опорный прыжок стал лучше? Или хочет, чтобы сегодня я осталась после тренировки и позанималась со всей командой упражнениями на растяжку? Или собирается пригласить меня на ужин? Я согласилась бы на все, что бы она мне ни предложила.

— Не знаю, как тебе об этом сказать, — начинает она. И внимательно смотрит на меня, а затем переводит взгляд на окно, где горит закатное солнце.

— Что-то с моей сестрой? — спрашиваю я, прежде чем осознаю, какая ужасная картина предстает перед мысленным взором. Клара сейчас учится в консерватории в Будапеште. Мама уехала в Будапешт посмотреть выступление дочери и забрать ее домой на Песах. И вот тренер неловко стоит в холле рядом со мной и не в силах посмотреть мне в глаза — я начинаю бояться, что их поезд сошел с рельсов. Еще рановато для их возвращения, но это единственная возможная трагедия, которая приходит мне в голову. Первое несчастье, о котором я думаю даже в военное время, имеет техногенный характер — трагедия из-за человеческой ошибки, а не спланированная человеком, хотя я знаю, что некоторые из преподавателей Клары, в том числе и неевреи, уже сбежали из Европы, боясь того, что грядет.

— С твоей семьей все хорошо, — ее голос звучит неубедительно. — Эдит, это не мое решение. Но я вынуждена сказать, что твое место в олимпийской учебно-тренировочной команде придется отдать кому-то другому.

Кажется, меня вот-вот стошнит. Мне неуютно быть в собственном теле.